

Гилберт К. Честертон

Чарльз Диккенс



ФТМ

УДК 82/821
ББК 84(2)

**Оригинал-макет книги для PoD-издания
подготовлен ООО «Агентство ФТМ, Лтд.»**

Перевод с английского
Наталии Трауберг

Честертон, Г. К.

Чарльз Диккенс: Биографический роман / Гилберт Кит Честертон. Перевод с англ. Н. Л. Трауберг. — Москва: ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2021. — 204 с.

Английский писатель Г. К. Честертон был не только популярным писателем, но и замечательным литературным критиком. Особенной его любовью пользовался Диккенс, которому он посвятил несколько работ. Одна из них — полное жизнеописание писателя, состоящее из двенадцати глав, рассказывающих о Диккенсе и его эпохе, о его жизни и творчестве и блестящем даре воображения. Как сказал Андре Моруа об этой книге: «...одна из лучших когда-либо написанных биографий, и прежде всего потому, что это вовсе не биография». В книге Честертон о Диккенсе — не сухой анализ ученого, а восторженная дань почитателя, его попытка силой любви и интуиции постичь суть такого явления как Чарльз Диккенс во всей его целостности и гармонии.

litagent.ru

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

Глава первая

Диккенс и его эпоха



Многие наши затруднения — и в религии, и в других сферах — возникают потому, что мы путаем слова «неясный» и «неопределимый». Когда тот или иной духовный факт называют неопределимым, нам сразу же представляется что-то туманное, расплывчатое, вроде облака. Но мы грешим здесь даже против здравого смысла. То, что нельзя определить, — первоначально, первично. Наши руки и ноги, наши плоски и ложки — вот что неопределимо. Неопределимо неоспоримое. Наш сосед неопределим, потому что он слишком реален. Для некоторых духовные факты столь же грозно и ощутимо близки, и бог для них — неопределим, потому что слишком реален.

Но есть еще одна разновидность неопределимого. Существуют выражения, которые все употребляют и никто не может объяснить. Мудрый примет их почтительно, как примет он страсть или мрак. Придиры и спорщики потребуют, чтобы он выразил свою мысль яснее, но, будучи мудрым, он откажется наотрез. Первое, необъяснимое выражение и есть самое важное. Его не опреде-



лишь, значит, и не заменишь. Если кто-нибудь то и дело говорит «вульгарно» или «здорово», не думайте, что слово это бессмысленно, если он не может объяснить его смысла. Если бы он мог объяснить его другими словами, он бы их употребил. Когда Боевой Петух, тонкий мыслитель, твердил Тутсу: «Это низость! Это просто низость!», он выражался как нельзя более мудро. Что еще мог он сказать? Нет слова для низости, кроме слова «низость». Надо опуститься очень низко, чтобы ее определить. Именно потому, что слово неопределимо, оно и есть единственно нужное.

В журналах и в разговорах мелькают стертые, но не пустые фразы: «Почему перевелись великие люди? Почему у нас нет Теккерея, Карлейля или Диккенса?» Фразы эти примелькались, они кажутся спорными, но не надо от них отмахиваться. Слово «великий» что-то значит, судя хотя бы по тому, как инстинктивно и решительно мы применяем его к одним, а не к другим. Особенно же решительно мы применяем его к четырем-пяти викторианцам, и прежде всего — к Диккенсу. Это слово что-то означает. Диккенс был тем, что оно означает». Даже несчастные и невеселые люди, которые не могут читать его без раздражения, употребят это слово, не задумываясь. Они чувствуют, что Диккенс — великий писатель, даже если он плохо писал. Он признан классиком — королем, которого можно предать, но свергнуть уже нельзя. Все связанное со словом «величие» связано с ним и, как ни странно, не вяжется ни с кем из нашего поколения. «Великий» — первый эпитет, который самый строгий наш критик применяет к Диккенсу, и последний из эпитетов, которые этот же критик применяет к себе. Мы не смеем приравнять себя к великим, даже если почитаем себя выше их.



Так есть ли смысл в идее «величия» или в наших сетованиях на отсутствие его в наше время? Ведь многие говорят, что это знакомое чувство — только мираж, созданный далью, и умершее всегда кажется великим, а ныне живущее — мелким. Многие думают, что в мире духовном законы перспективы — иные и люди становятся больше, отдаляясь от нас. Однако теорию эту опровергают факты. Мы лишены великих совсем не потому, что не желаем их искать; мы ищем их день и ночь. Мы — не из тех, кто избивает пророков, предоставляя потомству строить им гробницы. Если миру удастся породить настоящего пророка — твердого, всеведающего, — мы с превеликим удовольствием соорудим ему гробницу, а может, по нашей прыти, и похороним его заживо. Кроме того, нельзя сказать, что великих викторианцев не славили при жизни. Многие признали их великими сразу. Именно такую хвалу воздали Шарлотта Бронте — Теккерею, Рескин — Карлейлю. Одна литературная школа причислила Диккенса к великим с первых же дней его славы; к этой школе, конечно, принадлежал и сам Диккенс.

На вопрос «Почему нет великих людей?» существует много ответов. Реклама, курение, упадок веры, упадок земледелия, излишек гуманности, недостаток гуманности, необразованность, образование — вот некоторые из них. Предложу ответ и я, совсем не потому, что считаю его верным, просто так я короче всего расскажу о глубокой и пагубной разнице между нашей эпохой и началом прошлого века, когда еще не исчезла тень Революции и родился Диккенс.

Джордж Гиссинг — умнейший из знатоков Диккенса и талантливый человек — замечает, что Диккенс вырос в жестоком и мрачном мире. Он говорит о грубой пище,



драках и похабных шутках и называет этот мир жестоким и мрачным. До чего же по-разному можно смотреть на вещи! Для меня этот старый английский мир куда менее жесток и мрачен, чем тот, который описывает Гиссинг в своих романах. Грубость нравов — относительна, с нею легко примириться. Пусть грубеют руки, даже ум, только бы не сердце, как грубеет оно, когда мы входим в мир Гиссинга. Разница между началом и концом XIX века элементарна и огромна. Начало века было полно всякого зла — и надежды. В конце его, *fin de siècle*¹, было много хорошего; но люди только и спорили о том, какая от хорошего польза. Сама радость стала безрадостной; в битвах Коббета больше веселья, чем в усадях Уолтера Пэйтера. У современников Коббета хватало сил и на грубость, и на терпение; хватало у них сил и на то, чтобы изменять мир. «Жестокий и мрачный» век был, в сущности, веком реформ. В небе чернел силуэт эшафота, но за ним занималась заря.

Заря, на фоне которой так четко выделялись эшафот и все прежние злодеяния, была зарей либерализма, зарей Французской революции. Взгляд на мир был радостен и ясен, а только таким взглядом и увидишь зло. Оптимист преображает мир больше, чем пессимист; тот, кто считает, что жизнь хороша, может изменить ее к лучшему. Это кажется парадоксом, но причина тут проста. Пессимиста зло приводит в ярость, оптимиста — удивляет. Реформатору необходим простодушный дар удивления. Он должен удивлять, пламенно и просто. Для него мало признать несправедливость мерзкой — ее надо признать

¹ Конец века (франц.).



нелепой, ненормальной, достойной смеха, а не слез. Пессимисты же конца века вряд ли могли ругать зло — они не видели его на непроглядном темном фоне. Зла не было, потому что все было злом. В тюрьме было гнусно, как и всюду. Костры страшили, как и звезды. Вновь и вновь сталкиваемся мы с этим парадоксом самодовольного недовольства. Доктор Джонсон смотрит на людей сквозь черные очки, но остается консерватором. Руссо глядит на людей сквозь розовые очки, но готовит революцию. Сердитый Свифт был тори. Счастливый Шелли — мятежник. Оптимист Диккенс высмеивает тюрьму Флит, и она исчезает. Пессимист Гиссинг высмеивает предместье и предместье живо до сих пор.

Потому-то и ошибался Гиссинг, когда говорил о ранней поре Диккенсовой жизни, называя ее жестокой и мрачной: он забыл, что ее оведал дух надежды и веры в человека. Она кишела не только бесчеловечными учреждениями, но и добрыми людьми. А доброта эта, на мой взгляд, хороша именно тем, что проявлялась бурно и буйно. Она была свободна от недостатков, связанных со словом «филантропия». Если хотите, она была груба. То была драчливая, яростная, хмельная филантропия — но что же может быть лучше? Во всяком случае, дух тех времен был духом революции, а главной мыслью — мыслью о равенстве. Я не собираюсь защищать идею равенства от напыщенных и наивных нападок нынешних ученых и богачей. Я только скажу об одном из ее практических последствий. Признайте, что все равны — и тут же появятся великие. Я бы сказал: «те, кто выше других», но герой ощущает себя не «особенным», а именно великим. Мы об этом забыли из-за дурацкого поклонения мрачным, исключительным личностям, не ведающим дружбы и не



наделенным какой-нибудь нужной другим добродетелью. Люди, возомнившие себя Цезарями, действительно есть. Есть великие, рядом с которыми все кажутся мелкими. Однако поистине велик тот, с кем каждый чувствует себя великим.

Начало прошлого века рождало великих людей, ибо тогда верили, что человек велик. Эпоха создавала сильных, вдохновляя слабых. Воспитание, нравы, речи — все помогало стать великим. И, помогая в этом каждому, они помогали некоторым достигнуть особенного величия. Превосходство рождалось из равенства, достигшего особой высоты, — ведь именно эта неосознанная радость, именно эта общность мыслей делает человека больше, чем он есть. Никто, как бы ни старался, не может прибавить себе росту хоть локоть, но можно прибавить много локтей, нисколько о том не стараясь. Лучшие люди Революции были в лучшие свои минуты всего лишь обыкновенными людьми. Потому-то нашей эпохе не понять Наполеона. Он был велик, он одерживал победы — и мы считаем его исключением, чудом. Для одних он дьявол, для других — сверхчеловек. Был ли он исключительно скверным или прекраснейшим человеком со своим, недоступным для нас, моральным кодексом? Тщетно гадаем мы, что же таится за бессмертной маской, отлитой из меди. Современному миру, при всей его изощренности, не понять этой тайны, ибо тайна в том, что Наполеон очень похож на других людей.

Почти все великие люди вышли из атмосферы равенства. Великий может породить деспотию, но самого его производит на свет демократия. Кроме революции, героев рождает вера. Для веры — такова ее природа — все люди одинаково ценны, все равны перед вечной гибе-



лью... Все равны, как одинаковые монеты, — каждый ценен лишь потому, что на нем запечатлен образ великого царя. Это редко замечают те, кто пишет о религиозных героях. Вера приводит к величию духа именно потому, что не ищет величия. Сила Кромвеля в том, что он высоко ценил веру; сила веры — в том, что она ценит Кромвеля не больше, чем кого-нибудь другого. И он, и его слуга могли одинаково рассчитывать на теплое местечко в гостеприимной геенне. Часто, и не без оснований, говорят, что вера помогает обычным людям чувствовать себя необычными; однако правильно и другое: вера помогает незаурядным чувствовать себя обыкновенными.

Карлейль убил героев, их нет с его времени. Он убил героиню (хотя искренне ее почитал), заставив каждого спросить себя: «Силен я или слаб?» Любой честный человек — в том числе и Цезарь, и Бисмарк — должен ответить, что слаб. Карлейль искал людей, способных образовывать некую аристократию, — людей, способных сознательно стать выше своих ближних. Он обольщал их, обещал им славу, обещал могущество. Они не откликнулись. Они и не откликнутся. Ведь истинных героев, которых он живописал и славил, породил экстаз обыкновенности. Я уже говорил о Кромвеле и не буду говорить обо всех любимцах Карлейля. Он сам несколько их не ниже, и если было на свете истинное дитя Французской революции — это он. Он начал с безумных надежд на билль о реформе, и, хотя потом остыл, именно такие надежды вскормили его. Он разочаровался в равенстве, но не равенство — в нем. Равенство оправдано чадами его.

Мы же, кому выпало жить позже, не слишком верим в великих. Каждый проверяет себя, каждый проверяет других — близка ли та черта, за которой наступает вели-



чие, — и, конечно, отвечает «нет». Многие из тех, кто стал бы тогда великим пророком, довольствуются ролью мелких поэтов. Мы привередливы и недоверчивы. Нам нелегко поверить, что в мире вообще есть великие. Раньше сомневались, что есть хоть одно ничтожество. Мы молимся о том, чтобы лицезреть величие, а не о том, чтобы исполнить им наши сердца. Так, либералы (к которым принадлежу и я) говорили, оставшись не у дел: «Ах, где наш Гладстон!» Мы просили подкрепления сверху, когда нужно было укрепить дело снизу собственной надеждой, молодостью и яростью. Каждый из нас ждал вождя. Каждый должен был ждать случая, чтобы стать вождем самому. Если бог когда-нибудь сойдет на землю, он явится, узрев смелых. Наши молитвы тщетны, новомесячия наши и праздники ненавистны богу. Великий придет, когда все мы будем чувствовать себя великими, а не малыми. Он явится в тот славный час, когда все мы почувствуем, что можем обойтись без него.

Значит, все-таки есть ответ на вопрос: «Почему теперь нет великих?» Их нет главным образом потому, что мы все время их ищем. Мы знаем, что такое величие, а знатоку великим не стать. Мы привередливы, а привередлив только тот, кто мелочен. Когда Диоген искал с фонарем честного человека, ему самому, боюсь, не хватало времени быть честным. Когда кто-нибудь, ползая и пресмыкаясь, ищет великих, чтобы им поклониться, ясно одно: сам он великим не станет. Ошибка Диогена проста. Он не заметил, что всякий человек — и честен, и нечестен. Диоген искал честность в каждой норе и пещере, но не подумал искать ее в сердце разбойника. Однако именно там нашел ее Христос; он нашел честного человека на кресте и обещал ему рай. Христианство искало